

Свидетели эпохи



АНЖЕЛИКА
БАЛАБАНОВА



*Моя жизнь —
борьба*

Мемуары русской социалистки
1897 — 1938

Анжелика Балабанова

**Моя жизнь – борьба. Мемуары
русской социалистки. 1897-1938**

«Центрполиграф»

2007

Балабанова А.

Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897-1938 /
А. Балабанова — «Центрполиграф», 2007

Мемуары Анжелики Балабановой, всемирно известной русской социалистки, охватывают драматический период в истории Европы конца XIX века и до 30-х годов XX века. Являясь весьма влиятельной фигурой международного рабочего движения, Балабанова была связана со многими известными историческими деятелями, в числе которых выделялись Муссолини, Либкнехт, Цеткин, Ленин, Троцкий, Зиновьев. Воспоминания Балабановой проливают свет на широчайшее историческое полотно, малоизвестное и во многом искаженное конъюнктурной историографией.

© Балабанова А., 2007

© Центрполиграф, 2007

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Анжелика Балабанова

Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897–1938

И если в ходе этой великой битвы за освобождение рода человеческого нам суждено пасть, то те, кто сейчас находится в задних рядах, шагнут вперед; и мы падём с сознанием своего выполненного долга и с убеждением, что цель будет достигнута, как бы ни боролись или ни сопротивлялись силы, враждебные гуманизму.

*Мир наш, несмотря ни на что.
Август Бебель*

Глава 1

Телеграмма, вызывавшая меня на срочное июльское заседание Исполнительного комитета интернационала в 1914 году, застала меня в отдаленном уголке Тосканы. По дороге в Пизу я вновь и вновь сверялась со своим расписанием. Если не успею пересесть на экспресс в Милане, я не сумею добраться до Брюсселя вовремя, чтобы попасть на заседание. Мне слишком хорошо была известна причина этой срочности, историческое значение этого события. Солидарность миллионов рабочих, которые будут представлены на этой конференции, может стать последним шансом на спасение Европы.

В Пизе я успела на ночной поезд, и, когда он выезжал с вокзала, я поздравила себя с тем, что теперь будет несложно делать необходимые пересадки. Когда проводник пришел проверить у меня билет, я попросила его постучать в дверь моего купе до прибытия поезда в Милан, так как хотела вздремнуть.

– Милан! – воскликнул он в изумлении. – Но, мадам, этот поезд идет в Рим!

У меня сердце упало. Я более десяти лет путешествовала по Италии, даже по самым ее отдаленным уголкам, и никогда раньше не садилась не в тот поезд и не опаздывала на заседание или встречу. А сейчас – самое важное заседание в моей жизни! Поезд был экспрессом и ехал без остановок до самого Рима. Я никак не могла добраться до Брюсселя из Рима до окончания первого заседания. Я объяснила свое затруднительное положение проводнику.

– Я так часто видел вас на вокзале, – сказал он, – и знаю, кто вы. Для партии важно, чтобы вы попали сегодня вечером в Милан?

Я знала, что могу говорить открыто.

– Послушайте, товарищ, началась война. Мы должны остановить ее, если получится, или не дать ей распространиться по всей Европе. Съезд интернационала в августе состоится слишком поздно. Исполнительный комитет должен действовать сейчас. Завтра мы встречаемся в Брюсселе.

– Не беспокойтесь, товарищ. Вы будете в Брюсселе вовремя.

Полчаса спустя, когда мы подъезжали к какой-то станции и поезд замедлил ход, проводник вошел в мое купе и открыл окно. Подняв меня на руки, он через окно опустил меня в протянутые руки станционного служащего, который бежал вдоль платформы. Поезд набрал скорость и исчез во тьме.

– Что вы здесь делаете в такой поздний час, товарищ Балабанова? – спросил начальник станции.

Я объяснила свое положение.

– Сегодня ночью нет пассажирского поезда на Милан, но я позабочусь, чтобы вы добрались туда.

Я приехала в Милан в товарном поезде как раз вовремя, чтобы пересесть на экспресс, идущий в Брюссель.

Я уже несколько раз совершала подобные поездки, но эта почему-то напомнила мне мое первое бегство из России в Брюссель шестнадцать лет назад. Та поездка также совпала с крупным переломным моментом в моей жизни, но не в жизни движения, частью которого я стала. Она ознаменовала окончательный разрыв с моей семьей, домом, со всей его роскошью и условиями жизни в нем, которые я так долго ненавидела и против которых я так яростно боролась. Передо мной лежало осуществление всех моих девичьих грез: университет, знания, свобода, возможность придать какой-то смысл моей жизни, хотя я еще и не знала, что означает последнее. Я была уверена, что среди десятков мужчин и женщин, которые ехали со мной в этой непрерывной череде вагонов третьего класса на протяжении долгого шестидневного пути, не было никого счастливее меня. Мне хотелось рассказать им о том, что происходит в моей жизни, что у меня начинается новая жизнь, что я еду в университет; я хотела, чтобы они разделили со мной мою радость. Я никогда до этого не путешествовала одна, но я чувствовала себя лучше, чем дома, в этом переполненном людьми поезде. Только одно пугало меня, когда мы приближались к Брюсселю. Я никогда не жила в гостинице одна, и, когда в четыре часа утра поезд остановился, сердце мое тоже остановилось. Город казался темным и негостеприимным, многочисленные памятники полководцам, неясно вырисовывавшиеся в темноте, выглядели одновременно и угрожающими и забавными. Пока я ехала в гостиницу, я вернула себе присутствие духа, напомнив себе обо всех других девушках, которым пришлось столкнуться с жизнью, не имея защиты друзей и семьи. Но после того как дверь моего гостиничного номера закрылась за носильщиком, который внес мой багаж, я заглянула под кровать и, трепеща, открыла шкаф для одежды. Я как раз только что прочитала в газетах о мужчине, который спрятался в платяном шкафу и ночью напал на спящую девушку.

За шестнадцать лет, которые пролетели с того первого утра моей новой жизни, я на деле осуществила все те неясные, но неодолимые честолюбивые замыслы, с которыми я в первый раз приехала в Брюссель. Общие фразы, в которые моя неопытность облекла их, – свобода, равенство, право жить своей жизнью, верность гуманизму, борьба с несправедливостью – нашли конкретное выражение. Я знала, что я очень удачливый человек. Страдания и борьба этих переходных лет – в отличие от лет моего детства и юности – имели смысл и достоинство, потому что они были связаны со страданиями и борьбой человечества. Жизнь, прожитая ради великого дела, лишена пустоты жизни отдельного человека.

Теперь я возвращалась в Брюссель в качестве представителя Социалистической партии Италии в Исполнительном комитете Второго интернационала. Конец этой поездки должен был ознаменовать конец некоего периода как в моей личной жизни, так и в жизни движения, которому я посвятила эти шестнадцать лет. Я не знала тогда, когда я подъезжала к Брюсселю, чувства безнадежности, поражения, неизбежной катастрофы, которым были отмечены следующие два дня и которое затмило даже великолепную речь Жореса на нашем заключительном заседании. Я не знала, что несколько дней спустя ответом на эту речь станет пуля наемного убийцы в Париже. Не знала я и того, что, подобно тому как убийство Жореса ознаменовало начало международной резни, убийству двух других членов нашего Исполнительного комитета, Розы Люксембург и Хьюго Хааса, суждено было ознаменовать наступление жестоких времен. Это было 28 июля 1914 года.

Всякий раз, когда меня спрашивают, как случилось так, что я отвернулась от своей семьи, от комфорта и роскоши своего дома на юге России и стала революционеркой, я теря-

юсь в ответе. Мне не приходит на ум никакая определенная дата или факт. Все детские годы, насколько я могу помнить, были годами бунта – бунта против матери, гувернанток, условностей и ограничений моей жизни и против уготованной мне судьбы.

Крепостное право было упразднено в России еще до моего рождения, и мне рассказывали о «великодушии» Александра II, который «освободил крестьян и сделал их счастливыми, тогда как до этого они принадлежали помещикам, подобно животным или товару». Но то, как моя мать обращалась со «свободными» слугами в нашем доме, всегда вызывало во мне возмущение. (Я мало бывала в других домах, и мне не с чем было сравнивать.) Однажды, когда я увидела, как какие-то крестьяне нашего поместья целуют край пальто моего отца по его возвращении из длительной поездки, я съезилась от стыда.

Мое первое осознание неравенства и несправедливости выросло из этих переживаний в моем раннем детстве. Я видела, что есть те, кто распоряжается, и те, кто подчиняется, и, вероятно, из-за моего собственного бунта против матери, которая руководила моей жизнью и олицетворяла для меня деспотизм, я инстинктивно встала на сторону последних.

Почему, спрашивала я себя, моя мать может вставать, когда захочет, а слуги должны подниматься рано, чтобы выполнять ее приказы? После того как она яростно накидывалась на них за какую-нибудь оплошность, я просила их не терпеть такое обращение, не понимая, что нужда привязывала их к нашему дому так же крепко, как и крестьян к помещикам-феодалам.

Первое свое представление о настоящей бедности и нищете я получила, когда стала достаточно большой, чтобы сопровождать свою мать в ее посещениях богадельни. Здесь в тесноте жили не только бедняки, но и больные люди и сумасшедшие. Мне позволялось раздавать подарки, которые мы привозили с собой, – передники, платья, белье и т. д. – на манер маленькой Леди Щедрости. Обитатели богадельни казались очень обрадованными этими подарками, а некоторые в благодарность целовали мне руку. Однажды моя мать дала мне шелковый шарф, чтобы я вручила его нищенке, которая постучалась в дверь нашего дома. Отведя ее в уединенную часть нашего поместья, где, я была уверена, нас никто не мог бы увидеть, я попросила ее пообещать мне сделать то, о чем я попрошу. Получив ее обещание, я отдала ей шарф, а после того, как она взяла его, я встала на колени и поцеловала ее руку. Таким образом, мне казалось, я установила равновесие между теми, кто имеет возможность давать, и теми, кто вынужден брать.

Мой отец умер, когда я была еще совсем маленькой, и я мало его помню. Он был помещиком и деловым человеком, очень поглощенным своими делами. Он не вмешивался в воспитание своих детей, за исключением тех случаев, когда мать, гораздо более энергичная, чем он, вызвала к его непререкаемому авторитету. Конфликты, которые у меня когда-либо происходили с ним, были спровоцированы матерью.

Моя мать родила шестнадцать детей, семеро из которых умерли. Я была самой младшей, и мои старшие сестры уже были замужем, когда я родилась. Это отчасти объясняет то, как меня воспитывали – ведь на самом деле у меня не было товарищей для игр, мне не разрешалось ходить в школу или играть со своими братьями, которые общались с другими детьми. По русскому выражению и в глазах своей матери я должна была стать «венцом семьи». Мое воспитание было таким, чтобы я соответствовала своему предназначению – браку с богатым человеком, праздной жизни, для которой традиционное воспитание и соблюдение общественных приличий были необходимой подготовкой. Хорошие манеры, языки, музыка, танцы и умение вышивать – вот что требовалось от русской светской женщины. В школе я могла бы научиться чему-нибудь дурному от «обычных» детей. Решением этой проблемы была череда гувернанток и лишение меня товарищей для игр.

Мое возмущение матерью усиливала ее манера, в которой находили выражение ее планы относительно меня, и ее склад ума в простейших эпизодах. «Кто тебя возьмет замуж, если ты не пьешь молоко или рыбий жир? – имела обыкновение спрашивать она. – Где вы видели

девочку из хорошей семьи, которая не играет на фортепиано?» А вот это бесило меня больше всего: «Что о тебе подумают люди?»

Несмотря на ее тиранический и жесткий нрав, моя мать посвятила себя своим детям и постоянно жертвовала собой ради них. Если она особое внимание уделяла мне, то это, вероятно, было благодаря какому-то ее неуловимому чутью, подсказывавшему ей, что, несмотря на все ее усилия, я не пойду по проторенной дорожке других ее детей, что она потеряет меня, как только я стану достаточно взрослой, чтобы жить своей собственной жизнью, и поэтому ей нужно дать мне больше физических сил и стойкости, чем другим. Разумеется, она никогда не признавала эти мотивы, даже если и знала о них. Она часто заявляла, что я худшая из всех ее детей, что она будет счастлива отделаться от меня; однако в мое отсутствие она говорила совсем обратное. Она была особенно строга со мной в присутствии других людей, и, хотя от этого мое возмущение становилось еще глубже, я вскоре стала понимать ее характер, в результате чего она потеряла всякое влияние на меня.

В то время мы жили на окраине Чернигова, расположенного неподалеку от Киева. Дом, имевший двадцать две комнаты, был окружен красивым парком и фруктовым садом.

И хотя сейчас я чувствую себя как дома в любой стране, я не могу думать о том, что меня окружало в детские годы, без ностальгии. Дом, сад, деревья, тихий городок, красивая река, протекающая через него, – последний раз я видела все это сорок лет назад. Но даже сейчас я помню каждый уголок сада, деревья, которым я доверяла сомнения и горести своих детских лет, кусты, которые кололи мне пальцы, когда я собирала ежевику, и от нее у меня были запачканы платья, к негодованию моей матери и гувернанток. Шестнадцать лет назад, когда я была членом правительства Украины, я собиралась вернуться в свой родной город, чтобы увидеть все это еще раз. Я действительно села на пароход, который должен был доставить меня туда из Киева и которому в мою честь дали новое имя «Интернационал». Тогда я обнаружила, что не могу увидеть места моей юности и распрощаться с ними во второй раз. Слишком многое случилось со мной с тех пор, как я уехала из дома, и пропасть, отделявшая меня от детства, стала слишком глубока. Я сошла с корабля, и поездка не состоялась.

Возможно, признание общественной отсталости России – даже несмотря на то, что аристократия и богатая буржуазия защищали обстоятельства, способствовавшие этому, – обратило интересы их представителей к западным «культурам», прежде чем они исследовали свою собственную. Причина в этом, а еще в желании быть как можно больше непохожими на «простых» русских.

В нашей семье говорили в основном на иностранных языках. Свой родной язык мне пришлось учить тайком по книгам, спрятанным от матери и гувернанток. Все эти гувернантки были иностранками, и сейчас я едва ли вспомню их имена или сколько их было. Ни у одной из них не было серьезного образования или каких-либо настоящих интеллектуальных интересов. Их наняли обучать меня языкам и давать поверхностные знания. Ни одна из них не могла ответить на вопросы, которые постоянно озадачивали меня или возбуждали во мне более чем просто формальный интерес к моей учебе.

Они получали распоряжения от моей матери, по воле которой они занимали свое место, и если кто-то из них и догадывался о том, как сильно я хотела понимания и любви и нуждалась в них, то ни одна не показывала виду. Хотя я никогда не была в хороших отношениях со своей матерью, я предпочитала ее обществу их обществу, потому что у нее был острый ум, который привлекал меня, и я чувствовала, что ее суровость больше показная, чем настоящая. Я даже предпочитала эту суровость холодному и безличному отношению ко мне моих гувернанток.

Спустя годы, после русской революции, мне довелось вновь встретиться с одной из этих гувернанток в Германии. В Италии набирал силу фашизм, и я была приглашена выступить на эту тему на митинге в Лейпциге. В то время Лейпциг был самым «красным» городом в

республиканской Германии, штабом негнбаемых марксистов. Именно здесь я познакомилась с учением Маркса, здесь Роза Люксембург опубликовала свои самые выдающиеся статьи до того, как ее убили в 1919 году. Мне был оказан прием в огромной гостинице, принадлежавшей рабочим. Я ненадолго удалилась в свою комнату, чтобы сосредоточиться на своей речи, когда в нее вошла какая-то женщина с охапкой красных гвоздик. Она была бедно одета, с непокрытой головой. Я не узнала ее, и она назвала себя. Это была моя последняя гувернантка.

Митинг проводился в самом большом помещении в городе, и на него пришло более десяти тысяч человек. Несколько раз на протяжении своей речи я встречала взгляд своей бывшей гувернантки. Ее глаза выражали понимание и воодушевление. После митинга она подошла ко мне и взяла меня за руку.

– Я так горжусь вами, Анжелика, – сказала она и добавила, что является членом партии и всегда сочувствовала рабочему движению.

– Тогда почему же вы не помогали мне, когда я была ребенком? – спросила я.

Она ответила, что не осмеливалась поощрять мои бунтарские настроения из-за моих родителей и своей материальной зависимости от них. Но я не могла не засомневаться в ее искренности. Она вступила в партию после краха монархии, когда делать это было не только безопасно, но и модно и когда социал-демократы были ведущей политической силой. Она была учительницей, и большинство ее учеников были социалистами.

Мне было одиннадцать лет, когда моя мать поняла, что справиться с моей решимостью ходить в школу невозможно. Я не знаю, каким был самый сильный мотив, лежавший в основе этой решимости, – желание учиться, быть с другими детьми или вырваться из дома, который я считала тюрьмой? Мы очень много путешествовали, особенно по Германии и Швейцарии, но эти поездки, во время которых мы посещали традиционные места и жили в модных отелях, казались просто продолжением жизни в Чернигове. Мне казалось, что я была бы очень рада, если бы меня отвели в самый низший класс какой-нибудь муниципальной школы. Вместо того чтобы послать меня в гимназию, как я хотела, моя мать наконец пошла на компромисс и согласилась отправить меня в светскую школу для девочек в Харькове. Там жила одна из моих старших сестер с мужем, и они могли присматривать за мной. И хотя я обрадовалась даже такой уступке, мама вскоре нашла предлог, чтобы отложить мой отъезд. Я не знала достаточно хорошо русский язык, чтобы сдать вступительный экзамен по этому предмету, утверждала она. Она не знала, что я учила его тайком, поэтому я убедила ее, что краткого интенсивного курса обучения с преподавателем будет для меня достаточно. В Харькове я была принята в более старший класс, чем я ожидала, и еще до окончания первого года обучения была переведена в следующий класс за «поразительные лингвистические способности».

Так как жизнь в пансионе была не такая, как дома, я была очень счастлива и не могла понять, почему другие девочки жалуются на то, что наша пища и окружающая обстановка не так хороши, как могли бы быть. Ввиду того что плата за обучение была высокой, количество учащихся было небольшим, а учителей отбирали лучших из лучших. Если бы не их обязанность готовить нас к ведению паразитического образа жизни, уровень наших занятий был бы гораздо выше. Униформа, которую мы носили, указывала на положение нашей школы, и я часто думала о ней, когда видела девочек в Западной Европе, одетых в простую одежду. Мы носили голубые платья с короткими рукавами, отделанными белым кружевом, и белые передники.

Когда царь собрался посетить Харьков, ученицы нашей школы и еще одной, где учились дворянки, были единственными, кому было разрешено приветствовать его на вокзале. Я помню свое волнение в ожидании его приезда, когда стояла с огромным букетом цветов, а затем свое разочарование, когда нам сказали, что «несчастный случай» – а на самом деле покушение на его жизнь – помешал его приезду. На следующий день я написала об этом событии в школьном сочинении и поблагодарила Бога за то, что он сохранил жизнь его императорскому величеству.

Мне было семнадцать, когда я, наконец, уехала из Харькова. Вскоре после моего возвращения домой мать и одна из старших сестер настояли, чтобы я поехала с ними в Швейцарию. Я избежала скуки гостиничной жизни в Монтрё, записавшись в языковую школу для молодых девушек. Хотя моя мать считала мое образование законченным, когда я покинула Харьков, и надеялась, что это временное пребывание в Швейцарии положит начало той жизни «в обществе», которая неизбежно приведет меня к браку, ей было трудно возражать против этого моего плана.

Однажды в школе заболела учительница, и директор попросила меня провести урок в классе. В конце этого дня она сказала мне, что из меня получится отличная учительница. Впервые кто-то предложил мне какую-то карьеру, а не праздность, и к тому времени, когда мы возвратились в Россию, слово «учительница» стало для меня синонимом слова «побег».

Когда я оглядываюсь назад на те два года, которые последовали за этим, я понимаю, что они представляют собой настоящую «бурю и натиск» для всей моей карьеры. После Харькова и Швейцарии мне было гораздо труднее, чем в детстве, приспособиться к жизни дома. Я уже не была ребенком и уже более определенно знала, чего я хочу. Я также знала, что достигла возраста, в котором я обязана исполнить свое женское предназначение. В том смысле, который моя семья вкладывала в эту фразу, что означало только одно: подходящий брак, устроенный моей матерью и братьями. По мере того как мое сопротивление планам матери относительно моего будущего становилось более определенным, а ее деспотизм приобретал все более репрессивный характер, борьба между нами превратилась в повседневную войну, которая изматывала меня эмоционально и физически и в конце концов привела к серьезной болезни.

В Чернигове, как и в других городах России, были девушки – дочери представителей мелкой буржуазии, специалистов, мелких государственных служащих, – которые готовились к поступлению в зарубежные университеты. За границей требования к поступающим включали в себя знание определенных языков, которым их не учили в муниципальных школах. Я поняла, что могу дать им такую подготовку.

Моей матери хотелось, чтобы я учила «детей бедных». Это будет благотворительностью и поэтому подходящим занятием. Но общаться и, возможно, подружиться с девушками из низших слоев среднего класса, которые до этого посещали муниципальные школы и готовили себя к какой-либо полезной деятельности, к свободной – и поэтому опасной – жизни в университете, – это было другое дело.

Чтобы избавить себя от бури ее негодования, а своих учениц – от возможного смущения от ее оскорблений, я планировала обучать некоторых девушек тайком. Я приходила к ним домой, когда моя мать отправлялась в город по магазинам, или встречалась с ними в каком-нибудь дальнем уголке нашего сада. Большая часть русских студентов в то время уезжала учиться в Цюрихский университет, но одна из девушек, которую я учила немецкому языку и которая прожила за границей несколько лет, рассказала мне об университете, который немедленно возбудил мое воображение. Это был Новый университет в Брюсселе. В то время я совершенно не читала никаких радикальных философских теорий, и, хотя я смутно знала о подпольном революционном движении в России и инстинктивно сочувствовала его целям, я никогда еще не встречала общепризнанного социалиста или анархиста. Брюссель был тем местом, где такие люди жили и могли говорить свободно, где их уважали и восхищались ими, куда съезжались студенты со всей Европы, чтобы побыть «у их ног». Когда эта девушка описывала студенческую жизнь, преподавателей, атмосферу свободного общения, я тотчас поняла, что должна поехать в Брюссель, а не в Цюрих.

Я и сейчас едва ли могу спокойно вспоминать те сцены, которые последовали вслед за объявлением о моем решении. Даже мои братья были потрясены, хотя они мало знали о Новом

университете в Брюсселе. Подобно моей матери, они считали, что университет не место для девушки, особенно для девушки, которой не нужно самой зарабатывать себе на жизнь.

Эмоционально и мысленно я уже порвала со своей семьей и со всеми ее традициями. Я знала, что настало время, когда я должна совершить фактический разрыв, которого я с нетерпением ждала столько лет. Скандалы и истерики этого периода только утвердили меня в решимости сделать это как можно быстрее и аккуратнее. Я сознавала, что деньги, которые я должна была унаследовать от поместья своего отца, были той цепью, которая приковывала меня к прошлому, к семье и России. Она тоже должна быть разорвана. Я сказала своему старшему брату, что я не хочу этих денег, что я уеду с пустыми руками и пойду своей дорогой. Он напомнил мне, что я не могу путешествовать без денег, даже в университете мне понадобятся пища и кров, одежда и книги. Наконец, его здравый смысл победил мои колебания, и я согласилась принять очень небольшое пособие, достаточное для того, чтобы содержать себя «как работницу» и позволить себе ездить третьим классом. Мы заключили соглашение, согласно которому брат должен был посылать мне эту сумму каждый месяц, а я отказалась от своей доли в отцовском наследстве в его пользу.

Когда я уезжала из дома, матери не было, чтобы попрощаться и благословить меня. Последнее мое воспоминание, связанное с ней, – это ее проклятие в мой адрес. Но я была счастливее, чем когда-либо в своей жизни.

Глава 2

Проведя несколько дней в гостинице, в которую я вошла с таким страхом рано утром по приезде в Брюссель, я сумела найти себе комнату. Это была бедная маленькая комната без отопления, в которой из мебели была только кровать, стол и два шатких стула. Моя квартирная хозяйка держала третьеразрядный магазин канцелярских принадлежностей. Так как он находился в одном из самых бедных районов Брюсселя, ее покупатели были очень бедны. Она обслуживала главным образом школьников, большая часть которых выглядела болезненными и недокормленными. Моя комната располагалась над магазином, и я питалась вместе с моей квартирной хозяйкой, чьи жилые комнаты, находившиеся позади магазина, были такими же пустыми, как и моя каморка. Но даже в самые холодные зимние дни и в те дни, когда я болела и лежала полумертвая от холода и недоедания, я не отдала бы и темного угла своей комнаты за большой, хорошо отапливаемый дом в Чернигове.

Университет находился недалеко, и, как только он открывался, мои дни заполнялись лекционными залами и публичной библиотекой, а вечера – различными встречами или неформальными студенческими собраниями. Митинги, которые я посещала, обычно проводились в Народном доме, чрезвычайно скромном тогда учреждении, занимавшем старое здание неподалеку, а не тот красивый дом, находившийся в совместной собственности, который оно стало занимать позднее. Новый дом стоил свыше миллиона франков, и в нем был зрительный зал, театр, офисы и комнаты для заседаний комитетов социалистической партии Бельгии и профсоюзов, кафе и кооперативные магазины.

Новый университет занимал два старых жилых дома и внешне не производил впечатления. Он не мог похвастать миллионными пожертвованиями. Другое дело – его интеллектуальная составляющая. Университет был основан интеллектуалами-радикалами Бельгии в 1894 году в качестве поля деятельности для Элизе Реклюса, чьи работы ознаменовали новую эру в истории научной географии. Реклюс был революционером и одним из самых блистательных ученых своего времени. Он участвовал в Парижской коммуне и был изгнан из Франции из-за своего анархизма. Он был типичным анархистом-интеллектуалом того времени. Его собственная жизнь была ежедневной иллюстрацией его взглядов. Любая жертва неравенства, хорошая или плохая, невинная или виноватая, вызвала к его альтруизму и смелости. Его жена выдавала ему всего несколько центов в день на карманные расходы, потому что знала, что он отдаст все, что имеет, зачастую тем, кто злоупотребляет его доверием и добротой.

От друга, который тесно сотрудничал с Реклюсом, я узнала, что он выделяет меня из всех других студентов. Я до сих пор не знаю почему. Я очень слабо училась по его предмету. Однако у него не было способа обнаружить неполноту моих знаний. Он был нетерпим ко всем учебным формальностям и никогда не задавал вопросов своим студентам. Когда я пришла сдавать выпускные экзамены по своим главным предметам – литературе и философии, – он сильно удивил моих преподавателей, знавших о его нелюбви к таким мероприятиям, внезапно появившись в аудитории, где проходил экзамен. Я была чрезвычайно польщена. Он часто приглашал меня к себе в гости, но за единственным исключением, когда я пришла к нему домой и мы пообедали вместе с его женой, я слишком робела принимать его приглашения.

Какое бы сильное впечатление ни производила на меня личность Реклюса, его лекции совершенно не удовлетворяли меня. Они были интересными и содержательными, но его общественной философии недоставало того элемента, который я страстно искала, – причинная связь. Я быстро пришла к заключению, что я не анархистка и никогда не смогу ею стать, несмотря на мое огромное восхищение отдельными анархистами, духом жертвенности и высокого идеализма, который они приносят в движение.

Элизе Реклюс был только одним из множества замечательных радикалов, которые тогда читали лекции в университете и перед большими аудиториями в Народном доме и оказывали влияние на мое развитие. Я жадно слушала таких социологов, как Максим Ковалевский, криминологов Энрико Ферри и Эдмона Пикара, экономистов Гектора Дени, Эмиля Вандервельде, Эмиля де Грефа. Я училась у Эли Реклюса, брата Элизе Реклюса, который читал лекции по мифологии и истории религии.

Многие студенты университета были иностранцами, главным образом из России, Болгарии и Румынии. Благодаря Народному дому я также познакомилась с несколькими итальянскими эмигрантами. Некоторые из них приехали в Брюссель, спасаясь от гонений, последовавших за выступлениями 1898 года. Я сразу же почувствовала тягу к ним. Это был первый намек на существование того, что показалось некоторым моим друзьям почти мистическими узами симпатии между мной и итальянскими радикалами, узами настолько сильными, что они в большей или меньшей степени определили весь ход моей дальнейшей жизни. Для меня, разумеется, в этом нет ничего мистического. Я была робкой девушкой, склонной к переменам настроения, и детская простота, щедрость и теплота итальянского характера очаровали меня. В присутствии итальянцев я, казалось, выхожу из тьмы и холода под яркие лучи средиземноморского солнца.

В это время Россия была не единственной страной, где девушки сталкивались с трудностями, когда стремились к учебе в университетах, получению университетского диплома и в конечном счете к профессиональной карьере. И все же, несмотря на преграды, существовавшие для женщин даже в сравнительно свободной атмосфере Брюсселя, в Новом университете училось довольно много девушек и молодых женщин. Однако у меня среди них не было близких друзей. Я быстро адаптировалась и была почти полностью поглощена своей учебой.

Мои соотечественники, студенты из России, были в большинстве своем хорошо подкованы в теории радикализма. Многие из них вели активную работу в подпольном движении в России, и у них было мало общего с молодыми студентами других национальностей, не являющимися членами такого движения, или с такими людьми, как я, которые хоть и говорили с ними на одном языке, но имели благополучное, абсолютно буржуазное происхождение. Я почтительно смотрела на этих русских, которые могли часами обсуждать идеи Маркса и Бакунина, участвовали в демонстрациях и другой революционной деятельности. В сравнении с теми из нас, кто еще ничего не сделал для Дела, не столкнулся с преследованиями, полицейским террором, ссылкой, они были героями. Я не хотела показаться им нескромной или обнаружить перед ними свою наивность, поэтому я боготворила их издалека.

То же самое было и с моими преподавателями. Для меня они были небожителями, к которым не смеют приблизиться простые смертные. Однако для одного из них я сделала исключение. Вернее, это получилось само собой. Селестин Дамблон был нашим преподавателем современной французской литературы и восторженным учеником Виктора Гюго. Но чтобы понять мое отношение к Дамблону, необходимо сначала написать еще об одном человеке, который был одним из основателей университета и чьи лекции в Народном доме я посещала, – об Эмиле Вандервельде.

Впоследствии Вандервельде стал председателем Трудового и Социалистического интернационала, на заседаниях Исполнительного комитета которого мне суждено было вместе с ним присутствовать годы спустя. В 1914 году он стал членом правительства Бельгии, а в 1925 году – министром иностранных дел. В то время он считался одним из самых горячих и талантливых европейских социалистов, авторитетом в экономических и юридических вопросах. Он был очень богатым человеком, обаятельным, физически привлекательным и великолепным оратором. Казалось, что он одарен всеми возможными качествами для роста своего авторитета среди таких романтиков-идеалистов, какими были большинство наших студентов. Перед ним преклонялись, особенно девушки.

В противоположность ему Дамблон был беден и некрасив. Он одевался как рабочий, хотя, как я теперь понимаю, не без штрихов театральности, которые создавали ему романтический ореол, о котором нельзя сказать, чтобы он совершенно не подозревал. Для меня он был воплощением униженных и угнетенных, тогда как Вандервельде, такой обаятельный и вызывающий восхищение, представлял собой Успех. Чем больше молодые студентки изливали свои чувства в адрес Вандервельде, тем большее возмущение он вызывал во мне и тем выше Дамблон поднимался в моих глазах. Ни по каким другим причинам, кроме моих личных чувств, я стала недолюбливать одного и боготворить другого.

Дамблон был хорошим оратором, и, когда он читал стихи – что случалось часто, – я действительно как будто видела и слышала поэтов, которых он цитировал: Ламартина, Шатобриана, Виктора Гюго. Его характер революционера проявлялся в неистовых вспышках негодования против социального неравенства. Эти необузданные вспышки, горевшие на огне его абсолютной искренности, никогда ничем не смягчались. Дамблон выражал то, что он думал и чувствовал, в любой обстановке, говорил ли он в учебной аудитории, на публичном митинге или в парламенте Бельгии, известным членом которого он был.

Во время моего первого года жизни в Брюсселе газеты сообщили об одной впечатляющей сцене, ссоре, приведшей к потасовке между депутатом-реакционером и социалистом Дамблоном. Восхищение, которое эта сцена возбудила во мне, привело к моей первой литературной пробе пера. Это было аллегорическое произведение, в котором Дамблон олицетворял Правду и Справедливость. Когда я на следующий день читала свое сочинение группе студентов перед началом занятий, незамеченный мною, в комнату вошел Дамблон. Я внезапно подняла глаза от своей рукописи и увидела его, стоящего передо мной и насмешливо улыбающегося. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Он попросил меня продолжать чтение, начав сначала. Я вся дрожала, но сумела заново прочесть все, что написала. Когда я закончила, он взял беспристрастный тон и, хотя похвалил мои литературные способности, тактично не подал виду, что понял личностную подоплеку моей аллегории.

Вскоре после этого он подошел ко мне, когда я приводила в порядок свои записи после одной из его лекций. Он заговорил со мной, и, прежде чем я успела осознать это, мы уже шли по улице по направлению к магазину канцелярских принадлежностей. В своей комнате я угостила его чаем, пока он продолжал говорить. После того случая он часто навещал меня. Для меня это были часы огромной радости – разделять мысли великого социалиста, человека, посвятившего свою жизнь угнетенным, человека с таким опытом, такого мужественного! Подобно большинству людей такого темперамента, он часто повторялся, но я всегда слушала его с чрезвычайным вниманием и едва осмеливалась предложить ему вторую чашку чая, боясь его прервать. Около трех часов дня ему нужно было быть в парламенте, и я часто сопровождала его, расставаясь с ним только в самый последний момент, чтобы занять место на галерее для посетителей, пока он пробирался на свое место в палате. Тогда парламент казался мне священным местом, где Наука, Правда и Справедливость, озвученные Дамблонами, должны были нанести поражение силам деспотизма и угнетения рабочего класса.

По дороге домой – моя голова все еще была в облаках, а блистательные фразы звенели в ушах – я обычно заходила в публичную библиотеку. Здесь я тоже надеялась найти путь к Правде и подготовиться защищать неимущих от богатых.

Много лет спустя я обращалась к обширной аудитории на Всемирном конгрессе вольнодумцев в Риме. Внезапно посреди фразы мои глаза остановились на поднятом вверх лице мужчины, стоявшего возле трибуны. В моей голове промелькнул вопрос: «Где я раньше видела этого человека?» В следующее мгновение пришел ответ: «Новый университет – Дамблон!» Я запнулась. Я думала, что не смогу закончить свою речь. Я снова была застенчивой девушкой, которая оторвала взгляд от рукописи в том лекционном зале в Брюсселе.

Когда я снова оказалась в Брюсселе много лет спустя после русской революции и после того, как я порвала отношения с большевиками, мне нанесла визит дочь Дамблона. Она рассказала мне, что ее отец, к тому времени уже умерший, часто говорил обо мне в последние годы своей жизни, что он следил за каждой ступенью моей карьеры. Она сказала, что будет счастлива подарить мне что-нибудь на память о нем. Мы пошли к ней на квартиру, и я выбрала ручку, которой имел обыкновение писать Дамблон. Она до сих пор у меня.

Несмотря на то что в то время я не была еще вовлечена в главный поток рабочего движения, я посещала бесчисленные лекции по его истории и тактике. Я приехала в Брюссель больше бессознательной бунтаркой, нежели сознательной революционеркой, и по мере того как посещала эти собрания в Народном доме и слушала споры рабочих, которые пришли сюда после долгого трудового дня, начала понимать, как много мне еще нужно учиться. Мои собственные личные стремления были облечены в такие абстракции, как Знание, Правда, Справедливость и Свобода, но теперь я начала понимать, что от революционера требуется гораздо большее, чем просто страсть к социальной справедливости. Красноречивое свободомыслие Реклюса возбудило мой восторг, но не сумело удовлетворить мое интеллектуальное любопытство. Как эти абстракции могут быть сформулированы в практическом смысле?

В Бельгии, как и в других западных странах, политической демократии сопутствовала самая крайняя бедность. Революции прошлого, разыгрывавшиеся во имя этих прекрасных абстракций, оставили рабочий класс поработанным. Только новая социальная революция, новая экономическая система могли освободить его. Как же этого достичь?

Из лекций Вандервельде, де Грефа, Дамблона и других социалистов, преподававших в университете, я начала получать свои первые понятия об экономической теории, механике капитализма, истории и значении революционного рабочего движения. Но самым решающим фактором в моей интеллектуальной жизни того времени – как и в жизни целого поколения русских революционеров – стали работы Георгия Плеханова.

В то время Плеханов был выдающимся философом и теоретиком марксистского движения в России, хотя на протяжении нескольких лет он находился в эмиграции в Западной Европе. Можно сказать, что он создал это движение, а его книги и статьи, которые имели хождение в подпольных кружках, были учебниками тех людей, которым суждено было свершить революцию в России в октябре 1917 года. Когда кто-то из русских студентов в университете порекомендовал мне его работу о монистическом подходе к истории, я обнаружила, что это именно то, что мне было нужно в тот момент. Это был философский метод, который придавал целостность и логику историческому процессу и сообщал моим этическим стремлениям, как и самому революционному движению, силу и достоинство исторического императива. В материалистической концепции истории Маркса я увидела свет, который осветил каждый уголок моей интеллектуальной жизни.

Плеханов, подобно многим русским революционным вождям, сочетал в себе качества человека действия, профессионального революционера с интеллектуальными качествами философа-мыслителя. Хотя он и получил образование инженера, Плеханов оставил это занятие в возрасте девятнадцати лет, когда выступил с речью на первой большой демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге. После этого он стал жить напряженной и опасной жизнью подпольного движения. До него усилия революционно-утопически настроенной интеллигенции были направлены в основном в сторону крестьянства. Как марксист, Плеханов признавал, что промышленные рабочие в городах даже в такой неразвитой стране, как Россия, составят авангард любого революционного переворота, и вместе с Аксельродом, Верой Засулич и Дейчем основал историческую группу «Освобождение труда». Именно в качестве ссыльного вождя социал-демократической партии России и ее представителя в Исполнительном комитете Второго интернационала он приехал в Брюссель вскоре после того, как я прочитала его книги.

Когда я узнала, что он будет выступать в Народном доме от лица жертв российского самодержавия, едва могла дождаться вечера, когда эта встреча должна была произойти. Я вошла в зал со смешанным чувством предвкушения и тревоги. Его труды меня так глубоко взволновали, что я не могла допустить мысли, что он как личность может хоть в чем-то меня разочаровать. В тот момент, когда он взошел на трибуну, моя тревога поубавилась. Внешне он поражал так же, как и блистательность его речи. Он был больше похож на русского аристократа, нежели на революционера, и, когда он говорил, ты немедленно начинал понимать, что это не просто мастер логических построений, великолепный полемист, но и высокоразвитый и артистичный человек. Когда он на хорошем французском языке говорил о новой волне преследований в России, он двигался по сцене и, казалось, проникал в сознание каждого мужчины и женщины в зале пронизывающим взглядом своих темных глаз. Это случилось вскоре после того, как Золя потряс общественное мнение Западной Европы, бросив ему вызов в своем письме «Я обвиняю». Когда я с робким благоговением смотрела и слушала Плеханова, он казался мне русским воплощением этого вызова.

Если бы кто-нибудь сказал мне, что через несколько лет мне будет суждено узнать оратора, выступавшего в тот вечер, как друга и товарища, что я стану его помощником и заместителем в Исполнительном комитете интернационала, что одним из самых горьких событий моей жизни станет мой разрыв с ним в начале мировой войны, я бы рассмеялась над такими фантазиями. Я и предвидеть не могла, что почти через двадцать лет меньшевик Плеханов разделит судьбу всех марксистов-небольшевиков и будет осужден как контрреволюционер людьми, чье мышление он когда-то помогал формировать.

Несколько месяцев я провела в Лондоне, работая над своей диссертацией в Британском музее. Я часто ходила в Гайд-парк, где среди других ораторов, я помню, слушала Хайндмана и Томаса Манна. Чтобы пополнить свое ежемесячное пособие, которое было недостаточным для жизни в Англии, я присматривала за маленьким ребенком в консервативной буржуазной семье, проживавшей в пригороде. Возвратившись в Брюссель, я закончила Новый университет, получив степень доктора философии и литературы. Но я знала, что мое образование далеко не завершено. В Брюсселе я нашла интеллектуальное подтверждение всему тому, что я до этого чувствовала и во что верила, но я была слишком самокритична, чтобы не понимать, насколько односторонним было мое образование. В Новом университете работа ортодоксальных экономистов и философов попадала под прожектор революционной критики. Но что, если бы все было иначе? Что случилось бы, если бы я сначала поступила в какой-нибудь университет в Германии, где эти предметы преподавались самыми известными защитниками существующего положения вещей? Откуда я знаю, выдержал бы мой новообретенный марксизм это испытание? Именно попыткой ответить на эти вопросы и обрести собственную интеллектуальную уверенность было мое решение провести следующие два года в Германии. Спустя несколько месяцев я поступила в Лейпцигский университет.

После Брюсселя университетская жизнь в Лейпциге была словно шаг из будущего назад в прошлое. Когда я оглядываюсь на этот период моей жизни – и на год в Лейпциге, и следующий год в Берлине, – моя жизнь в то время кажется мне окутанной в сырой туман. Эти два года были холодной паузой между Брюсселем и Римом. Атмосфера в университетах Германии была подобна атмосфере в хорошо вымуштрованном армейском гарнизоне, которым, подобно штабу, управлял профессорско-преподавательский состав. Пропасть между преподавателями и учащимися олицетворяли короткие и надменные кивки, которыми первые отвечали на военные приветствия и шелканье каблуками последних. Невероятный формализм и авторитарность университетской жизни ужасали меня, но еще более невероятным было спокойствие, с которым студенты принимали такой режим. Можно было тщетно искать хоть какой-то намек на бунт, непочтительность, добродушную насмешку. Если среди лейпцигских студентов и были

какие-то радикалы, я не обнаружила их – и это в одном из самых революционных социалистических центров во всей Германии!

В Лейпцигском университете было мало женщин-студенток, и они подвергались особым ограничениям. Вероятно, из-за тройственного стечения обстоятельств я вызвала к себе особо пристальное внимание: я была женщиной, я была русской, и я хотела изучать не гуманитарные науки, а политическую экономию. Оказалось, что я должна получить личное разрешение от каждого преподавателя на прослушивание его курса, и чем более консервативным был преподаватель, тем с большей неохотой он давал свое согласие.

Абсурдное соблюдение формальностей и следование иерархии, преобладавшее в то время, которое позабавило бы меня тогда, если бы я более беспристрастно смотрела на все, что меня окружало, продемонстрировал один случай, произошедший со мной во втором семестре. Меня остановили на полуслове, когда я отчаянно зывала, чтобы к серьезно заболевшему студенту был послан доктор. А все потому, что я опустила одно из трех званий, которыми полагось называть врача.

– Вы имеете в виду *тайного советника* профессора доктора Х., не так ли? – прервал меня преподаватель.

Скуку университетской жизни скрашивали собрания, которые я посещала несколько вечеров в неделю. Именно на них я впервые услышала и встретила Августа Бебеля, вождя социал-демократической партии Германии, Розу Люксембург и Клару Цеткин, которые позднее стали моими друзьями.

Я особенно хорошо помню свою первую встречу с Розой Люксембург. Я читала одну из ее книг о развитии капитализма, которую она написала во время своих частых тюремных заключений в Польше и Германии, и, когда я услышала, что она будет выступать в Лейпциге, я решила, по возможности, познакомиться с ней.

В тот вечер, когда она должна была выступать, я рано отправилась в Лейпцигский народный дом. Так как ее речь адресовалась женщинам-социалисткам, а я еще не была членом партии, я не была уверена в том, что меня туда пропустят. Когда она входила в здание, я узнала ее по описаниям, прочитанным в книгах, и, собрав всю свою храбрость, подошла к ней.

– Товарищ, – спросила я, – вы не могли бы позволить мне присутствовать на вашем собрании? Я студентка из России, приверженец социализма, хотя еще не состою в партии.

Она была очень великодушна ко мне. Ее глаза просияли.

– Конечно, – ответила она. – Я буду счастлива, если вы останетесь на нашем собрании.

Она держала меня при себе, пока ей не пришло время взять слово.

Пока она выступала, я поняла, почему ее считали одним из величайших ораторов и учителей движения. Ее простота, ум, энтузиазм и глубокая искренность оказывали сильное влияние на слушателей. Она была чрезвычайно одарена интеллектуально. Будучи еще юной девушкой, студенткой университета, она произвела впечатление на известных специалистов в области политэкономии своими не по годам зрелыми работами по этому предмету. У нее был исключительно острый критический ум, и в том возрасте, когда большинство девушек мало интересуются чем-либо, за исключением одежды, любовных романов и танцев, она была уже постоянным и уважаемым автором, публиковавшимся в научных марксистских журналах.

Роза Люксембург принадлежала к тому поколению известных женщин, которым приходилось бороться почти с непреодолимыми препятствиями, чтобы добиться возможностей, которые мужчины того времени получали как нечто само собой разумеющееся. Чтобы добиться интеллектуального признания, в то время женщине требовалась подлинная жажда знаний, много упорства и железная воля. Роза Люксембург обладала всеми этими качествами в исключительной степени.

Но была и более мягкая сторона в ее характере. Когда после ее трагической смерти были опубликованы некоторые из ее писем к близким друзьям, они явились откровением для публики, особенно, наверное, для той ее части, которая читала консервативную прессу, где ее часто называли «красной фурией». Те письма были поэтичными в самом истинном смысле этого слова. Напряженная политическая деятельность и научная работа Розы Люксембург выражали лишь одну сторону ее ума и личности.

После года учебы в Лейпциге моя вера в марксизм скорее утвердилась, нежели поколебалась, но я решила подвергнуть ее еще одному испытанию. Я поехала в Берлин учиться у Адольфа Вагнера, самого известного ученого, занимавшегося политической экономией в то время.

В Берлине – хотя тамошняя атмосфера была несколько более сложной – моя университетская жизнь показалась мне более соответствующей прошлому, чем настоящему или будущему. Там было мало студентов-радикалов и преобладало то же поклонение власти. И хотя доктор Вагнер имел репутацию либерала, я вскоре поняла, что он настоящий прусский милитарист. В этом он был типичным немецким преподавателем высшего учебного заведения того времени, и именно это сочетание абстрактного либерализма, внутреннего раболепия и слепого национализма, присущее многим интеллектуалам Германии, поразило мир в 1914 году. Когда я в первый раз беседовала с ним однажды рано утром в его доме, чтобы получить разрешение на посещение его занятий, он был склонен отказать мне на том основании, что как выпускнику высшего учебного заведения у меня нет причин продолжать учебу. Выпускница университета, женщина! Зачем еще тратить время на другой университет? И почему, ради всего святого, я хочу изучать политическую экономию?

Я почувствовала в нем даже какую-то подозрительность. Мое смущение спасло положение. Я, заикаясь, сказала:

– Но я знаю так мало, господин профессор, а ваши лекции так известны...

Непреднамеренная лесть этого ответа понравилась ему. Я получила разрешение записаться на его курс.

Однажды утром, когда я вошла в аудиторию, я заметила необычное возбуждение среди студентов. Когда появился профессор Вагнер, чтобы начать лекцию, он был встречен неистовым топотом ног, которым немецкие студенты выражали не какой-либо протест, а свое патриотическое возбуждение. И только после того, как Вагнер сел, произнес последние фразы лекции, я поняла, что означала эта демонстрация и необычно шовинистический тон профессора, обращенный к слушателям. Рядом с Вагнером на возвышении сидел в кресле, покрытом гобеленом с золотой отделкой, пожилой господин в военной форме со множеством орденов. Этот посетитель был членом семьи Гогенцоллерн.

Задолго до конца года я решила, что университетской жизни в Германии с меня хватит.

Глава 3

С самых моих первых шагов по изучению марксизма одно имя становилось мне все больше и больше знакомым. Это было имя Антонио Лабриолы, которого не следует путать с Артуро Лабриолой, вдохновенным вождем итальянских синдикалистов. Антонио Лабриола был преподавателем Римского университета. Всякий раз, когда какая-нибудь группа студентов-социалистов в любом из университетов, в которых я училась, собиралась, чтобы обсудить что-либо, можно было быть почти абсолютно уверенным в том, что услышишь ссылку на Лабриолу. Любой студент, серьезно воспринимавший революционное движение в те дни, отдал бы свою правую руку за возможность учиться у него. Больше всего в марксизме меня интересовал его философский подход, а у Антонио Лабриолы, как и у Плеханова, был этот подход. Я еще ни разу не была в Италии, и мысль о том, чтобы пожить там и узнать итальянцев на личном опыте, ассоциировалась с возможностью поработать под руководством человека с такой великолепной репутацией во всем мире и обладала неодолимой притягательностью. В конце семестра, после того как я упаковала свои книги и села в экспресс Берлин – Рим, мной овладело такое нетерпение, что казалось, будто поезд движется еле-еле.

У меня не было близких друзей в Риме, но я смутно помнила, что там живет беженец-социалист, с которым я познакомилась в Брюсселе в 1898 году. Я написала ему записку, и он пришел в мою гостиницу и помог мне в поисках жилья. Мы нашли подходящее в меблированных комнатах. Там также жила единственная женщина в Риме, состоявшая членом партии, Елена Пенсути. Она стала моей близкой подругой и оставалась ею до самой войны. И хотя мы жили в «современной» части города, недалеко от нас находилась одна из старейших церквей, знаменитая Санта Мария Маджоре. Несмотря на то что я сразу же начала учиться в университете и посещать публичную библиотеку, я много времени проводила в церквях и художественных галереях, восхищаясь сокровищами итальянского искусства. Из этих экскурсов в зримое прошлое я узнала гораздо больше, чем прочитала в книгах. Но в то время для меня прошлое со всеми его успехами было всего лишь прелюдией к новой ступени развития общества, которую я надеялась помочь открыть.

Атмосфера в Римском университете так же отличалась от атмосферы университетов в Германии, как и климат. Тот нелепый формализм и настоятельное требование соблюдать установленный в учебном заведении порядок отсутствовали совершенно. Когда преподаватели проходили мимо студентов, они приветствовали их и получали ответные приветствия с неприкрытой учтивостью. Тех, кто занимал самое высокое положение в профессорско-преподавательском составе, можно было остановить и подробно расспросить по любому вопросу, который был интересен или непонятен для студента. Не было различия в отношении к студентам, женщины они или мужчины; для женщин не было каких-то особых требований или ограничений. Многие лекции были открыты для широкой публики, равно как и для студентов, и были бесплатными.

Многие молодые женщины, посещавшие занятия, были родом из богатых и консервативных римских семей. Они одевались с определенным изяществом и обычно ходили в сопровождении монахинь, выступавших в роли дуэний. Многие из них оставляли своих дуэний в библиотеке или еще где-нибудь и ускользали от них на какое-нибудь свидание. Они придерживались гораздо более свободных взглядов, чем те немногие женщины радикальных взглядов, которые принципиальным вопросом считали «свободу пола».

Лабриола меня не разочаровал. Обладая глубоким, острым и критическим умом, он был, без сомнения, одним из самых выдающихся наставников своего поколения. Я до сих пор считаю его одним из самых замечательных людей современности. В начале своей академической

карьеры он был преподавателем философии в университете в Неаполе, где его научные исследования привели его к знакомству с трудами Маркса.

Научный метод Лабриолы был творческим. Будучи социалистом, он никогда при этом не делал попыток навязать свои социалистические убеждения своим ученикам. Он вел нас по дорогам истории и лабиринтам философии через прошлое и настоящее; он раскрывал перед нами факты и давал нам возможность самим делать выводы. Он учил нас сомневаться, чтобы мы научились исследовать и вырабатывать свой собственный критический подход к теории общества, искусству и науке. В одной из немногих книг, оставленных им последующим поколением, он писал: «Преподавателя, использующего университет для проведения *пропаганды* социализма, следует поместить в сумасшедший дом». Мы были еще больше тронуты, когда в конце последней лекции в семестре он остановился на минуту, посмотрел на нас усталыми дружелюбными глазами и сказал: «В сорока лекциях, которые я прочитал вам в этом году, я показал вам, что общество делится на эксплуатируемых и эксплуататоров. Те из вас, которые предпочитают бороться вместе с первыми против последних, выполняют великодушную, благородную задачу. Я говорю вам это как ваш преподаватель философии и нравственности. Я закончил».

Я никогда не аплодировала никому так сильно, с такой благодарностью, как я аплодировала ему.

Вскоре после того, как я записалась на занятия у Лабриолы, стало очевидно, что я возбуждала его любопытство. И хотя я сидела в дальнем углу класса, он часто испытующе посматривал на меня, когда анализировал некоторые вопросы, особенно связанные с Россией. Наконец он заговорил о книге, которую я перевела с русского на французский, и представил меня классу. Это было началом моей личной дружбы с ним, и с тех пор я стала частью небольшого круга студентов, которые ходили вместе с ним в кафе после его лекций. Во время этих дискуссий, которые становились чем-то вроде научной конференции, он часто обращался к современным событиям и политикам, и здесь мы познакомились не только с колоссальным размахом его интеллекта, но и его едкой иронией.

Я вспоминаю, как он сердился, когда кто-нибудь спрашивал его, не является ли Артуро Лабриола (тоже преподаватель, социалист экстремистского синдикалистского толка, уроженец Южной Италии) его родственником. Бедный Антонио Лабриола! Если бы он знал, что очень многие люди за пределами Италии считают его и Артуро – двух таких разных личностей – родственниками, мало того, некоторые даже уверены в том, что Антонио и Артуро – одно и то же лицо! Один остроумный марксист-француз однажды сказал: «Да, в Италии есть два Лабриолы – Антонио, очень великий, и Артуро, очень незначительный».

У Лабриолы было серьезное заболевание горла, и, по мере того как его голос становился все слабей и слабей, тем, кто сильнее других интересовался его лекциями, разрешалось садиться близко к его лекционному столу. Его врач запретил ему курить или нюхать табак, но всякий раз за несколько минут до начала своей лекции он оглядывал своих слушателей, среди которых были несколько монахов и священников. Бывало, подходил к одному из них и говорил, намекая на свой собственный атеизм: «Ваш христианский Бог наказал тот орган, которым я грешил больше всего. (В этот момент он показывал на свое горло.) Будьте добрым христианином и дайте мне немного табаку». За этим следовал обмен улыбками между великим бунтарем и скромным служителем церкви, и последний доставал из-под рясы свой кисет.

Ближе к концу года Лабриола вызвал меня к своему преподавательскому столу и показал новую книгу по марксизму, которая, как он полагал, меня заинтересует. «Послушайте, синьорина, – сказал он грустно, когда я уже собиралась возвратиться на свое место, – я единственный в Италии марксист. Когда я умру, единственной останетесь вы. Вы должны быть исполнителем моей марксистской воли».

Я была так глубоко тронута не только тем, что он сказал, но и тем, *как* он это сказал, что не могла сосредоточиться на последовавшей за этим лекции.

У Лабриолы было двое детей, сын и дочь, но никто из них не разделял его интеллектуальных или политических интересов. Сын вырос и стал ничем не примечательным государственным служащим. Дочь была надменной псевдоинтеллектуалкой. От своего отца она унаследовала некоторую едкость, но если острый язык Лабриолы был оружием творческой критики и анализа, то она использовала это качество, чтобы дать выход своей злости и разочарованию в жизни. Она тоже стала преподавать в университете. Все знали, что отцу пришлось использовать свое влияние, чтобы обеспечить ей это место. Он помогал ей писать докторскую диссертацию и оказывал давление на своих собственных студентов, чтобы вынудить их посещать ее лекции.

В конце семестра мне захотелось каким-то образом выразить свою признательность за то, что Лабриола сделал для моего интеллектуального развития, и я заказала римскому художнику изготовить маленький медальон с портретом Карла Маркса. Когда я пошла домой к Лабриоле, чтобы вручить ему свой подарок, он провел меня в свой просторный солнечный кабинет. Я робко попыталась объяснить, что заставило меня принести ему медальон и как я буду признательна, если он примет его на память от его очень благодарной ученицы.

Он принял мой дар весьма благосклонно, и я уже собиралась уйти, когда он задал мне неожиданный вопрос:

– Вы видели портрет моей дочери?

Прежде чем я успела ответить, он провел меня в какое-то место, которое, казалось, было для него святыней, – в тихую, темную комнату. Там он отдернул бархатный занавес, за которым обнаружился скульптурный бюст Терезы Лабриолы, установленный на пьедестал.

– Как он вам нравится? Мне жаль, что скульптор неточно воспроизвел ее прическу, – сказал он таким серьезным тоном, что я воздержалась от замечаний.

Прежде чем мы покинули святилище, он еще раз посмотрел на скульптуру, дотронулся до головы пальцем, словно хотел убедиться, что на ней нет пыли, какого-либо признака осквернения. Затем он задернул занавески, и мы очень тихо вышли из комнаты, словно боясь потревожить спящего ребенка.

Тот факт, что этот человек, такой безжалостный критик, нетерпимый к человеческим недостаткам, настолько слеп, когда дело касается его отцовских чувств, дал мне новое понимание сложностей человеческой натуры.

В начале моего пребывания в Риме у меня не было прямых контактов с партией. Несмотря на то что Елена Пенсути была членом партии, она, как и я, была слишком застенчива, чтобы приближаться к партийным лидерам. Но даже видеть этих людей, имена которых были хорошо известны всей Италии, было для нас большой радостью. Так как мы знали, что большинство из них едят в ресторанах неподалеку от парламента на Пьяцца Фиренце, мы обычно обедали там. Здесь я впервые увидела Прамполини, Моргари, Турати, Тревеса и многих других депутатов-социалистов. Мы с Еленой обычно садились в какой-нибудь отдаленный уголок и жадно слушали их оживленные дебаты. На протяжении всего обеда за столом, где они собирались, не было и минуты тишины. Но другие завсегдатаи тоже были очень шумными, и мы часто были огорчены тем, что не можем услышать то, о чем говорят социалисты.

Хотя я вызываю в памяти эти воспоминания по прошествии почти сорока лет, в течение которых я сотрудничала и поддерживала тесные личные контакты с большинством этих людей, я счастлива сказать, что они не разочаровали меня. В целом они остались для меня тем, чем они были для меня, когда я боготворила их в своей наивной юности, – честными людьми, искренне преданными рабочему классу, чьи ошибки и поражения, какими бы роковыми они ни были для

движения, происходили не вследствие их личной беспринципности или неверности идеалам, которые они поддерживали.

Первым депутатом-социалистом, с которым я стала лично знакома, был Леонид Биссолати, один из основателей, а затем и главный редактор официального органа социалистической партии Италии «Аванти». Для своей работы с Антонио Лабриолой мне была необходима современная немецкая литература по марксизму, которую, как мне было известно, можно было получить в штаб-квартире партийной прессы. Эти небольшие пустые комнаты редакции в окружении исторических зданий и старых церквей, где руководителем был человек, который, как мне казалось, говорит за миллионы угнетенных рабочих, наполняли меня благоговейным трепетом.

Биссолати был одним из самых типичных итальянских вождей-социалистов того времени. Еще до того, как он закончил учебу в университете, он уже решил отказаться от карьеры юриста и посвятить все свое время и силы рабочему движению. Рожденный в Кремоне, окруженной обширными поместьями, управляющие которых в отсутствие землевладельцев должны были выжимать каждый чентезимо¹ из их участков земли, он рано не понаслышке узнал, что такое нищета, деградация и страдания итальянских крестьян. Он видел, как малярия и пеллагра опустошают целые районы. Его первые полемические статьи, в которых он писал об увиденных вокруг себя страданиях и несправедливости, привели к тому, что его обвинили в том, что он «утопист» и бунтовщик.

Когда я впервые познакомилась с ним, Социалистическая партия Италии уже была разделена на два воюющих крыла – левое крыло, которое подчеркивало революционную цель движения, и правое крыло, которое придерживалось постепенности в социальных преобразованиях и делало акцент на безотлагательных реформах. Левое течение, которое я страстно одобряла, было представлено Энрико Ферри, а правое, такой же страстной противницей которого я была, возглавлял Биссолати. И тем не менее, несмотря на мое принципиальное согласие с Ферри, я испытывала мало почтения к нему как к личности. Его аргументы и манера отстаивать свою позицию производили на меня впечатление поверхностных и даже демагогических. Его репутация величайшего криминолога в Италии и его великолепные ораторские способности обеспечили ему положение в движении, которого – если судить о нем как о марксисте – по моему мнению, он не заслуживал.

Биссолати был противоположностью Ферри во многих отношениях, и, хотя я была не согласна с ним в вопросах политики, он стал вызывать во мне восхищение. Он был воплощенная противоположность демагогу. Так же смело, как он противостоял общественному мнению в своей родной провинции, когда он вступил в рабочее движение, позднее он встретил неодобрение масс и критику своих собственных товарищей, когда его обвинили в том, что он реформист. Ни в том ни в другом случае его не заботило общественное мнение, которому он не сделал ни малейшей уступки.

Когда я впервые встретила с ним, хотя я и была молодой и неопытной девушкой, он обращался со мной, как с равной. Таким образом ему было нетрудно побуждать меня выражать свое мнение, критиковать его точку зрения. Когда я пришла во второй раз, он был даже еще более добр ко мне и больше поощрял меня высказываться. Когда я стала извиняться за то, что отняла у него так много времени, он сказал: «Не говорите так. Я чувствую себя гораздо моложе, когда разговариваю с вами. Пожалуйста, приходите еще, как только захотите».

Затем он взял несколько немецких марксистских журналов *Neue Zeit*, которые я просила дать мне почитать, и проводил меня домой, продолжая нашу дискуссию по пути. Кто бы мог подумать, что придет время, когда молодая женщина, идущая рядом с ним и так жадно слушающая его, станет сторонницей его исключения из партии, которую он основал?

¹ Чентезимо – мелкая разменная монета Италии, равная 1/100 лиры. (Здесь и далее примеч. ред.)

Мои революционные убеждения, подкрепленные лекциями Антонио Лабриолы, жадным чтением «Аванти» и другой периодики и научной литературы, а также моими дискуссиями с итальянскими социалистами, заставили меня почувствовать, что для меня настало время вступить в партию. Это был следующий логический шаг в моем развитии. Это выглядело не так, как будто я пережила внезапное духовное обращение, посещая массовые собрания и слушая какого-нибудь красноречивого оратора. Я шла к рабочему движению постепенно и долго обдумывала этот шаг. Вступление в революционную партию – это не обязательно волнующее и внезапное событие. В этом нет никакого тщательно разработанного ритуала. Нужно заполнить бланк заявления, предстать перед небольшим комитетом по приему новых членов и затем занять свое место в рядах движения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.